# Второго ноября

***Семь дней и семь ночей Москва металась
 В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро
 Пускал ей кровь — и обессилев, к утру
 Восьмого дня она очнулась. Люди
 Повыползли из каменных подвалов
 На улицы. Так, переждав ненастье,
 На задний двор, к широкой луже, крысы
 Опасливой выходят вереницей
 И прочь бегут, когда вблизи на камень
 Последняя спадает с крыши капля…
 К полудню стали собираться кучки.
 Глазели на пробоины в домах,
 На сбитые верхушки башен; молча
 Толпились у дымящихся развалин
 И на стенах следы скользнувших пуль
 Считали. Длинные хвосты тянулись
 У лавок. Проволок обрывки висли
 Над улицами. Битое стекло
 Хрустело под ногами. Желтым оком
 Ноябрьское негреющее солнце
 Смотрело вниз, на постаревших женщин
 И на мужчин небритых. И не кровью,
 Но горькой желчью пахло это утро.
 А между тем уж из конца в конец.,
 От Пресненской заставы до Рогожской
 И с Балчуга в Лефортово, брели,
 Теснясь на тротуарах, люди. Шли проведать
 Родных, знакомых, близких: живы ль, нет ли?
 Иные узелки несли под мышкой
 С убогой снедью: так в былые годы
 На кладбище москвич благочестивый
 Ходил на Пасхе — красное яичко
 Съесть на могиле брата или кума…

К моим друзьям в тот день пошел и я.
 Узнал, что живы, целы, дети дома, —
 Чего ж еще хотеть? Побрел домой.
 По переулкам ветер, гость залетный,
 Гонял сухую пыль, окурки, стружки.
 Домов за пять от дома моего,
 Сквозь мутное окошко, по привычке
 Я заглянул в подвал, где мой знакомый
 Живет столяр. Необычайным делом
 Он занят был. На верстаке, вверх дном,
 Лежал продолговатый, узкий ящик
 С покатыми боками. Толстой кистью
 Водил столяр по ящику, и доски
 Под кистью багровели. Мой приятель
 Заканчивал работу: красный гроб.
 Я постучал в окно. Он обернулся.
 И шляпу сняв, я поклонился низко
 Петру Иванычу, его работе, гробу,
 И всей земле, и небу, что в стекле
 Лазурью отражалось. И столяр
 Мне тоже покивал, пожал плечами
 И указал на гроб. И я ушел.

А на дворе у нас, вокруг корзины
 С плетеной дверцей, суетились дети,
 Крича, толкаясь и тесня друг друга.
 Сквозь редкие, поломанные прутья
 Виднелись перья белые. Но вот—
 Протяжно заскрипев, открылась дверца.
 И пара голубей, плеща крылами,
 Взвилась и закружилась: выше, выше,
 Над тихою Плющихой, над рекой…
 То падая, то подымаясь, птицы
 Ныряли, точно белые ладьи
 В дали морской. Вослед им дети
 Свистали, хлопали в ладоши… Лишь один,
 Лет четырех бутуз, в ушастой шапке,
 Присел на камень, растопырил руки,
 И вверх смотрел, и тихо улыбался.
 Но, заглянув ему в глаза, я понял,
 Что улыбается он самому себе,
 Той непостижной мысли, что родится
 Под выпуклым, еще безбровым лбом,
 И слушает в себе биенье сердца,
 Движенье соков, рост… Среди Москвы,
 Страдающей, растерзанной и падшей,
 Как идол маленький, сидел он, равнодушный,
 С бессмысленной, священною улыбкой.
 И мальчику я поклонился тоже.

 Дома
 Я выпил чаю, разобрал бумаги,
 Что на столе скопились за неделю,
 И сел работать. Но. впервые в жизни,
 Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
 В тот день моей не утолили жажды.***